

К1 947492

Борис Чулков

Крылья
насушенные



Муниципальным
Библиотечным
центром
им. Бабушкина
с добрым
вниманием

Б. З. Мел

28/VIII-82



Борис Чулков живет в Вологде. Как и другие поэты Вологодчины, он пишет о сезерной деревне, природе родного края. Однако в его творчество вошел и современный город нечерноземной России с его острыми проблемами, которые автора стихов волнуют прежде всего в плане нравственном.

Книгу составили новые стихотворения автора.

Борис Чулков

Крылья
насущенные



СТИХИ

К1947492

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
АРХАНГЕЛЬСК

1981

**ВОЛОГОДСКАЯ
областная библиотека
им. И. В. Бабушкина**

ч 0742—025 4-25-81
M157(03)—81

© Северо-Западное книжное издательство, 1981

ПРОСТАЯ ПОВЕСТЬ

Хотелось мальчику лететь,
на землю сверху поглядеть —
его романтика манила,
как в детстве, в юности манит,
притягивая, что магнит,
своей неодолимой силой.

Хотелось мальчику лететь,
на землю сверху поглядеть;
и, надо ж, ясны были дали,
и солнце с высоты небес
слепило снег, ласкало лес,
но — самолеты не летали.

Там, на другом конце пути,
дул ветер — дьявол во плоти!
Что ж оставалось? — Оставаться...
Отец билеты возвращал...
Малец расплакался, рыдал...
Слезам, казалось, не унягся...

К тому ж болезнь он перенес,
и вот теперь родитель вез
его в далекий санаторий.
Что сокрушало им сердца—
пути не виделось конца,
а тут и с самолетом — горе.

Мы поутешили его:
«Ну что ты! Полно! Ничего!
Э, утро будет мудренее!»
Потом пошли повечерять,
а там — в гостиницу опять
и — сном забылись поскорее.

А утром (так уж сын просил!)
отец автобус пропустил,
на явный риск пустился снова.
Являемся на аэродром,
и снова — разрази нас гром! —
к полетам небо не готово.

Задача стала тут проста,
все встало на свои места:
попуткой ехать мы решили
и ждем машину с полчаса,
сидим... Как вдруг — о, чудеса! —
с аэродрома позвонили.

Впервые мальчик полетел!
Сбылось, чего он так хотел,
чего сердечко так желало.
И я был рад: ведь не пустяк,
что справедливость как-никак
взяла и восторжествовала!

А может быть, его понять
земля сумела, словно мать,
и все стихии приструнила
и пересилила туман,
и рейс нам был в итоге дан?..

Ну кто подскажет, в чем тут сила!..



1941—1945

Заборов не было тогда —
без дров погибнешь в холода, —
варилась в супе лебеда,
и прочно в быт вошла беда.

Но время шло — за мигом миг,
к беде любой из нас привык,
и не явил о ней язык,
и не был слышен плач и крик.

Вперед глядел народ, вперед,
лишь для победы жил народ —
все знали: праздник в свой черед
и к нам на улицу придет.

И дождались, и дождались:
лазурны стали даль и высь,
и птицы звонче залились,
и восторжествовала Жизнь!

□



Нам не на чем было расти,
нам не с чего было полнеть:
при голоде, полном почти,
нам было легко умереть.

Легко было нам умирать,
но все же не умерли мы:
вскормила нас Родина-мать
на хлебе суровой войны.

Ох, эти хлеба, ох, беда —
беда нескончаемых дней...
Родись я теперь — не тогда,
я был бы, конечно, рослей.

И больше б во мне было сил,
и с детства б уже я окреп...
Но все же бы не ощутил,
насколько желанен он, хлеб...



ВСПОМИНАЯ...

Громадный, гордый и чугунный,
гранитный город над Невой!
Я юный был, безумно юный,
с бедовой, буйной головой

и ярым сердцем, свежим, шалым,
не знавшим удержу ни в чем:
как ни труди его, бывало, —
все нипочем, все нипочем.

Я по твоим бродил проспектам,
в твоих трамваях колесил
и, как казалось, свою лепту
в твою поэзию вносил:

«Прспектов строгие просторы,
домов величественный строй...
Я полюбил тебя, о город,
мне ставший родиной второй...»

Забыл, как дальше.
Все такое
навечно и наверняка
я бросил в печь как неживое,
не стоящее пятака.

А между тем какие были
там ритмы, кружево словес!..
Но ум и сердце проявили
к ним только первый интерес
и скоро как-то позабыли
весь этот мир сплошных чудес.

Однажды я душою понял,
чураясь всех красот-щедрот,

что, видимо, не в том районе
моя поэзия живет.

Она — в родных лесах и пожнях
и в том негромком городке,
какою Вологда, я помню,
была в далеком далеке.

...Я ныне редко представляю
прямую линию, гранит,
отнюдь не часто там бываю
да и в слова не воплощаю
того, что память мне хранит.

Но если юность отзовется, —
всего не вспомнить не могу:
душа навстречу встрепенется,
ей так же дышится, поется,
и так же вольно сердце бьется,
как встарь на невском берегу...



В ГЛУБИНКЕ

А дом для приезжих в поселке
был просто обычной избой
на стыке дорог и проселков
под стилой январской звездой.

«Отель у нас — в стиле «баракко», —
товарищ мой кстати сострил;
однако от стужи и мрака
домишко прибежищем был.

Надежным (за окнами — вьюга!)
и теплым (в страшный мороз!);
и шутку товарища-друга
не стал принимать я всерьез.

Ночлег — я почувствовал — будет
в любом неуютном краю;
подумалось: всюду есть люди,
что помощь предложат свою.

Хозяин собаку не спустит
на путника — чтобы пугнуть, —
он двери отворит, он впустит
того, кто прошел дальний путь.

Как ты нас впустила из мрака
на свой огонек небольшой,
гостиница в стиле «баракко» —
с открытою русской душой!

В АЭРОПОРТУ

Пил цыганенок лимонад,
как в детстве только пьется,
уж так-то был, чертенок, рад —
кажись, не оторвется.
Вертляв и на ногу легок,
малец вздымал бутылку
и пил ядреный пряный сок
восторженно и пылко.
От счастья сердце из груди
аж выскочить готово.
Ему кричали: «Погоди!»
А он в ответ — ни слова.
Лишь ухмылялся наш пострел:
пострелу что за дело,
что в небесах туман густел
без края и предела.
А мать его, удручена,
еще дитя качает
(на флот воздушный и она
надежды возлагает).
Вот, насосавшись, ей сынок
дарует остальное.
Один глоток, другой глоток —
видать, не до того ей.
Сын тумбу ну крутить-вертеть,
испачкался, чертяка,
и что лететь, что не лететь —
чертяке одинако.
А мать его, удручена,
динамику внимает,
как «Тарнога отменена» —
динамик объявляет.
Мать покрывает кой-кого
довольно крепким словом,
а для сынка — мертвым-мертво,
что ей — живей живого.
Счастливый возраст: ни минут,
ни дней не наблюдает
и все берет, что ни дают,
как лимонад глотает.

Но будет время — и ему,
как взрослым,
от бессилья
придется крыть и мглу и тьму,
что связывают крылья.
Ждать — жаждать —

изнывать — кипеть —

копить слова похлеще;
и что лететь, что не лететь —
две разных будут вещи...
Иль, может, время принесет
такие самолеты,
что, не завися от погод,
во все пойдут полеты?
Нет, и в грядущем — рад не рад —
забот поднаберется...
Пил цыганенок лимонад,
как в детстве только пьется.



Дождь, смешал ты наши карты: мешаниной
из воды и глины стали все пути,
и нужны тут корабли, а не машины,—
ведь иначе ни проехать, ни пройти.

Только надо нам в колхоз, где не бывали,
нам туда сегодня нужно позарез,
потому-то остановят нас едва ли
топкий берег и лохматый этот лес.

И, быть может, не напрасно так и тянет
нас в понурый и студёный неуют:
как-то чуешь — в этой самой глухомани
люди очень даже чуткие живут.

Люди очень даже чистые — за этой
липкой хлябью, непролазной и больной...
Вот дорогу провести б до сельсовета —
стала б жизнь у них иной, совсем иной.

Вот и техник бы тогда сюда явился
(телевизор поломается — беда!),
вот и медик лишний раз не поленился
до болящего добраться бы сюда...

Но пока что задаются лишь вопросы
(ты, районное начальство, им ответь!),
а потом уж мы стихи им преподносим,
и при этом надо лучшее успеть.

Не ошибся я — и жители лесные
чутко слушали докладчиков и нас;
были б слушатели всюду вот такие,
как сегодня,— это было б экстра-класс!

Счастьем их пока не радовали боги,
но на счастье право им принадлежит!
Что могу я пожелать им? Лишь дороги!
...А нам обратная дорога предстоит!



Как через сердце кровь, через часы
бессонно перекачивается время,
а ночь — такой неслыханной красоты,
что вся видна, с подробностями всеми.

Как мост, соединяя берега —
заката берег с берегом восхода, —
такая ночь — желанна, дорога
и белою зовется у народа.



Время в том лишь неизменно,
что ему не скажешь: «Тпру!»
С каждым годом — перемены...
К худу это иль к добру?

Стать пророком не могу я,
век пророком мне не быть;
только верю, только чую,
что застоино нам не жить.

С каждым часом жить новее,
и, скорее, все к добру.
Это сердцем разумею
и, наверное, не вру!



«МЕТЕОР»

Подводные крылья —
и судно легко и проворно,
почти без усилья
летит по поверхности водной.

Летит, пожирая
пространство, чтоб мчаться и мчаться и мчаться.
Луга исчезают,
леса убегают,
буксиру — на месте топтаться.

Летит, словно это
оно горизонт настигает.
Летит, как ракета,
когда притяжение тает...

...Но — затормозили...
«С прибытием!..» И вдруг ощутил я:
воздушные или
подводные — только бы крылья.

Все, видимо, в этом: нам надобны крылья и крылья!

□

—

Этой стройке итог
наконец подведен:
этот горе-чертог,
слава богу, снесен.

И смотри — старина
стала краше с тех пор:
не стареет стена,
молодеет собор.

Все у них впереди,
их — векам не сломить...
Так что, зодчий, гляди —
что и где возводить!

□

947492

ПЕТРОВСКИЙ ДОМИК

В Вологде сохранился дом, принадлежавший голландскому купцу И. Гутману, а затем его вдове,— дом, где во время своих посещений города (1692—1724) не раз останавливался Петр I.

А здесь история под боком:
недалеко он, дом Петра.
Лишь стоит глянуть ненароком —
стара история, стара.

О, сколько, сколько миновалось
эпох, периодов, времен
с тех пор, как Русь в Петре нуждалась
и был он ею порожден,

чтобы свершить святое дело:
из темноты страну извлечь —
раздвинуть все ее пределы
и от соседей уберечь.

Почувя силу, он явился
на Север матушки-земли
и с корабелями трудился,
и строил чудо-корабли.

Дай оглянись на дни былые!
На корабле, по существу,
и приплыла тогда Россия
к победе, к славе, к торжеству...

...И по-над Вологдою терем
стоит святыней, невредим...
Я всем преданиям не верю,
но все ж прислушиваюсь к ним

К истокам их я обращаюсь —
тут пища сердцу и уму...
Петром Великим — восхищаюсь
да и завидую ему.

ОДА УСТЮГУ ВЕЛИКОМУ

И чем-то древним и старинным,
великокняжеским, былинным
меня мгновенно обдало,
когда под солнцем дня златого
с утеса времени седого
ты улыбнулся мне светло.

Хотя история, бывало,
тебя отнюдь не баловала:
ты выгорал, был разорен
междоусобицей, князьями,
и татарвою, и войсками
невесть каких еще племен.

Да и река — твоя врагиня —
топила дома и святыни,
и волны смерть тебе несли,
и льдины с ветром-ураганом
рвались как будто бы тараном
тебя стереть с лица земли.

Почти из мертвых возрождаясь,
ты подымался, распрямляясь,
и, набираясь свежих сил,
развертывал крутые плечи
и, чтоб окрест глядеть далече,
главу высоко возносил.

Отсюда — речь о том ведется! —
пошли твои землепроходцы,
чей лик отважен, но не хмур.
Они во славушку России
пути торили — да какие! —
на Обь, на Лену, на Амур...

Особняки твои и храмы,
как встарь, стоят светло и прямо
и белой сказкою своей
нам будоражат, будят душу:
не видя их — черствее, суше
душа была бы, ей-же-ей.

Ты год от году, город, краше.
Мы за тебя осушим чашу,
в которой нет ни капли слез:
великий, славный, именитый,
гостеприимством знаменитый,
ты сам ее нам и поднес.



ВЕЛИКИЙ НАРОД

Что на роду написано народу?
Написано ему великим быть:
в погоду и в лихую непогоду
с главой высоко поднятой ходить;

и сквозь века идя и сквозь невзгоды,
врагов и победить и посрамить;
и если будут тягостные годы —
надеяться до лучших дней дожить;

в связи с вопросом «быть или не быть?»
небытие в ответе исключить...

И никому и ничему в угоду
тем заповедям ввек не изменить.

Вот это и предписано народу,
кому и впрямь дано великим быть!

ДЕРЖАВИН

Старик Державин нас заметил...

А. С. Пушкин

И чего не заметил Державин?
Он, Державин-то, все замечал,
выйдя в путь от безвестности к славе,
все пройдя от азов и начал.

Дворянин без чинов и поместий,
господин без гроша и без душ,
ни стыда не теряя, ни чести,
стал большой государственный муж.

Но и он, управитель губерний,
бард великий России всея,
не избег ни наветов, ни терний —
и горька была чаша сия.

Почему? Потому, что накладно
было с царской короной шутить
и что в царстве, мол, то-то неладно,—
хоть с улыбкой, царям говорить.

И, меж тем как из грязи да в князи
темных личностей армия шла,
губернатору в царском указе
предлагали оставить дела...

И чего ты, Державин, добился?
Знай сидел бы, закрывши глаза.
Беззаконьями дух не смутился б,
не душили б ни гнев, ни слеза...

Уходил он в себя и в опалу,
вспоминая про козни, крушась,
и не знал, что душа-то алкала
только с миром поддерживать связь.

Только с миром, таким многоцветным:
с садом, полным тюльпанов и роз,
с этой липовой рощей заветной,
с этой Русью, к которой прирос.

Так живал он легко и привольно,
и сладка была чаша сия.
И друзей принимал хлебосольно,
если были — прямые друзья:

брашна всякие стол украшали,
и в корзинах смеялись плоды,
и искрилось вино — не пора ли,
не пора ли вкусить за труды?..

Так живя, он случайно заметил,
что уж «Памятник» время писать:
светел волос, воистину светел,
и годов уже — не занимать.

Ближе взмахи косы роковые,
очи вечным закроются сном...
Но скорбящая мать Россия
будет плакать о сыне своем.

Что ж текущая в Лете печальной
под знобящим туманом вода,
что металла глагол погребальный:
сын для матери жив — навсегда!..

НЯНЯ

Романтизируем изгнание
и ссылку (благо бог послал!),
а он-то в этом наказанье
сначала только и видал.

(Не так? Прочтите его почту
друзьям, знакомым и родным
и вы поймете: это точно,
сомнений здесь не уследим).

Лишь Родионовна всецело
ему и скрашивала быт,
о чем питомец то и дело
все в тех же письмах говорит.

И право, клад, а не старушка:
советчица, и друг, и мать
(да и лихое слово «кружка»
он тут сумел подрифмовать!)

А речь ее! А песен, сказок —
откуда только и брала!
И сколько самых русских красок
в его сознание привнесла!

В переплетенье счастья с грустью
и радости со тьмой невзгод,
о, няня, связь с извечной Русью
через тебя к нему идет.

И впрямь барчук первоначалу
и раб столичный суеты,
он приобьик мало-помалу
к заботам сельской простоты...

Что в том, что осень да хандрища,
что в том, что дичь кругом да глушь,
что незатейливо жилище,
театров, ба́лов нет, к тому ж!

Что бы там ни было, а дело
не ждет, не терпит, — то и знай.⁴
Так что берись за дело смело,
а коли взялся — не плошай.

И не плошал, и не плошал он...
В тот первый год еще в хандре,
потом уж краше не видал он
поры, чем осень на дворе.

Тем более, когда, свободен,
поздней он приезжал сюда,
то для письма весьма пригоден
сей угол был ему всегда.

Милей сельцо уже казалось,
леса и нивы, дом и сад,
и только няня оставалась
такой, как много лет назад.

...Гуляет осень золотая,
витают листья за окном,
а он, и устали не зная,
сам-друг с бумагой да пером.

О, как тогда ему писалось,
когда взыграет листопад:
как будто осень отзывалась
на все, чем он душой богат.

Союз труда и вдохновенья:
весь мир — в тебе, и жизнь полна,
и на пиру воображенья
пить нужно чашу — всю, до дна!

О, чтоб судьбина улыбалась
и не угас ни дух, ни пыл!
О, чтоб не раз еще сказалось
святое: «Вновь я посетил...»!

Но заходило жизни солнце...
Чему не быть — тому не быть...
И довелось еще питомцу
недолго няню пережить.

Между могилами глухими
ее последнее жилье...
И только имя, только имя —
бессмертный памятник ее...



ПОЭТ

...Я знал, что он иначе и не мог
я чувствовал: во всех его метаньях
и не душа повинною была,
а путь, что предначертан был от века,
а жребий, что написан на роду.

Что ж до души — так вот: она была
из тех же матерьялов, что и сумрак,
и облака, и смурые туманы —
покровы над текучим телом рек,
едва ль и в зной-то сильно разогретых.

К тому же мы отнюдь не представляем,
что наша может выкинуть душа,
(вот только было ведро, ан гляди —
уже и хмурь, и тень, и темень-туча,
а там уж и ненастье — ливень, дождь).

Душой поэт таким же был сродни,
как сам он, неприкаянным скитальцам —
Есенину, Вийону и Верлену
(судьба — осенний лист, гонимый ветром,
не знающим, куда он лист несет).

Но может быть, и не было метаний,
как после неизбежно всё представят,
«хрестоматийный глянец наведя»?
Нет, были, — отвечаю, — как не быть-то:
он милостию божьей был поэт.

ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ОРЛОВА

Я знал его. Не коротко. Не очень.
Но виделся. Встречался. Говорил.
Советы мне давал он, между прочим.
Свою на память книгу подарил.

Я знал его. Не близко. Не подробно.
Но не боюсь поклясться, присягнуть:
в правдивости кто как, но он-то кровно
был заинтересован, вот в чем суть.

Я знал его. (Но знал, конечно, ближе
я стих его — окопный, фронтовой,
что красотой дешевой не унижен
и потому воистину живой).

Я знал его. Не видел погребенья,
я знаю, что руками всех друзей
он — как герой его стихотворенья —
положен в шар земной, как в мавзолее

Я знал его. Я помню. Не забуду
и в бороде открытого лица.
Я знал его. И значит — помнить буду
до самого — до смертного конца.

□

ДОМ ПОЭТА В ПЕРЕДЕЛКИНЕ

Так вот он, дом поэта:
как рубка на судах,
что бороздят планету
на всех ее морях.

Но дом — в тиши поселка,
среди сосен и полей,
откуда, право, долго
до всяких плыть морей.

Здесь жил большой художник.
Он слушал тишину
как «вечности заложник
у времени в плену».

Но хоть бы и пыталась
душа обнять миры —
навек она вписалась
в окрестные боры.

Бежав от суесловья,
как брат дерев и трав
он влился в Подмоскowie,
его частицей став.

И в счастье и в юдоли
невылазных невзгод
душа дружила с полем
и шла на огород.

И не чуралась люда,
и — с ней в ладу большом —
любви святое чудо
живило быт и дом.

Она лишь душу грела
в постылой стылой мгле.
Ее свеча горела,
горела на столе.

И дом — всего свидетель,
что видывал поэт, —
стоит на этом свете
не памятником, нет,

не трезвым завершеньем
в земном пути его —
стихийным продолженьем
поэта самого.



АВТОМАТЫ

Автоматы людям помогают:
сушат руки, время говорят,
светофорят, музыку рождют,
продают билеты, выпускают
тьму изделий, денежки меняют
нам в метро... И черт всего не знает,
что умеет нынче автомат.

Вот он — век сплошного автомата!
В этом век воистину велик.
Ну так и порадуйся, старик:
неудобством жизнь уж не чревата,
жизнь легка, удобна и крылата:
в кнопку ткнешь — и все приспело вмиг.

Только почему же грубоватым,
взвинченным бываешь ты, собрат?
Все-то ты торопишься куда-то,
фразы и отрывисты, и сжаты...
Времени все нет?.. А разве зря ты
создал за одним — ума палата —
и другой, и третий автомат?!

Ты, старик, их создал. Но расплатой
не они ль тебе уже грозят?
Уж не автоматы ль виноваты,
что и ты — порою автомат?..

ПЕСНЯ НА СЛОВА ДРУГА

Поначалу я даже вздрогнул:
не иначе заблудший призрак —
так неожиданно она явилась,
и притом — в тех же самых стенах,
что не раз видали поэта
до его столь нелепой смерти.

Просвистало какое время —
сколько лет пронеслось нещадных,
и вдруг слышишь напев заезжий,
и сдается, в нем тот же голос,
что в стихах, как читал их автор
до своей столь нелепой смерти.

Я по-своему вникнул в чудо:
не умея его осмыслить,
я лишь слушал, как пели песню
за столом, уже бесшабашным;
и больней слова задевали,
чем тогда — до нелепой смерти.





И неожиданно я понял,
что чуду снова трудно быть,
что чудеса — шальные кони:
поймать их надо, приручить.

Все это в юности мятежной
и просто; но когда тебе
не так уж мало — тут потешно
перечить жизни и судьбе.

Наружно с ними я смиряюсь:
ну что ж, такие, брат, дела...
И все ж за гриву порываюсь
схватить — была иль не была!..



Верю в слово — верю, что найду
я его и в нынешнем году
и в году каком-нибудь далеком —
спрятанное в тайнике глубоком,
в памяти, которая пока
глубока, объемна, широка —
как и мир, широкий и просторный;
и еще хочу я, чтоб не черный
был у слова цвет и чтобы стих
сразу по рождении не стих,
чтобы не стихал, а поработал —
как поэт, работавший до пота!

КРАСКИ ДЕТСТВА

Запахи, цвета и ощущения!
Пережить вас дважды не дано.
Только на пиру воображенья
воскресать на миг вам суждено.

...В деревушке маленькой летами
мы живали в оны времена;
мир ее с полями и лесами
пробуждал мне душу ото сна.

Взять, к примеру, виделись Прилуки,
а когда кончается гроза,
виделись они из-под излуки
радуги, что радует глаза.

Монастырь как сказочное диво
возникал под сочною дугой;
зрелище и впрямь было красиво —
сказки не придумаешь другой.

Радуга была такую спелой
и такими свежими — цвета,
что потом я больше в жизни целой
не видал подобных никогда...

Каждый цвет, оттенок, запах каждый
воссоздать пытаюсь ныне я.
Но не ощутила ни однажды
чувств своих былых душа моя.

Пусть давно не читывал я сказок,
перечту: какая благодать!
Только тех, что в детстве видел, красок
больше уж вовек не увидеть...



Ума у нас не было, право,
но стыд и сейчас не потух:
мы в детстве считали забавой
охоту на бедных лягух.

Зачем бы травить этих тварей?
Когда возвращалась весна,
в пахучем и мгlistом угаре
их жизнь была тоже полна.

А мы к ним — с бедой неминучей!
Ну, шкодники, ох, огольцы!
Ремнищем бы нас (да покруче!),
но были далеко отцы...

В отрытых на случай налетов
траншеях стояла вода,
и в эти-го полуболота
мы камни бросали тогда.

С чего б этот дух разрушенья,
несущий жестокую смерть,
и в самый разгар обновленья,
объявшего воды и твердь?

Неужто мы в детстве не знаем,
не ведаем, что и творим?
На жизни живых посягаем —
а правом владеем таким?

Жалею, что там же, на месте,
никто нас тогда не застал,
не выпорол всех честь по чести
(и бог-то нас не покарал).

Лишь вспомню я эту забаву —
и жгучим вскипаю стыдом...
Ума у нас не было, право, —
одно оправдание в том.

ПЕС НА ВОКЗАЛЕ

Посреди скупого быта,
попрошайка, он скулит.
Вижу: лапа перебита,
пес, конечно, инвалид.

Только что глаза большие
ловят ласку и привет?
Все кругом — одни чужие,
не чужих — в помине нет.

(Пусть и бросит кто объедок
побродяжке-дурачку,
но такой, как видно, редок:
пес все время начеку).

Ох ты, псина-бедолага,
сверхпечальные глаза,
сознаешь ведь ты, однако:
без хозяина — нельзя.

Понимаешь: без опоры,
без поддержки, без руки
околеешь под забором
с стужи, с голода, с тоски.

И к тому уж дело: плакать,
не держать же хвост трубой:
на дворе — и стынь и слякоть,
на дворе — ноябрь седой.

До тебя кому тут дело,
кто поможет, пособит?
Все толкуются очумело,
все клянут вокзальный быт.

Люди спешно проезжают
(для жилья ли этот зал?),
но хоть как, да согревает
пса бездомного вокзал.

Ну а дальше что? Не знаю,
как и чем ему помочь...
Человека обвиняю,
что держал, да выгнал прочь.

Душу зло повсюду жалит,
и болит она, болит,
и сама — как на вокзале
эта псина-инвалид.



ПОЛНОЙ МЕРОЙ

Полной мерою познается:
снова молодость не вернется,
ты уже не из молодых.

Если сердце сильней забьется,
если что-то в нем встрепетается, —
лишь немолодость посмеется:
до висков, мол, дожил седых,
а нейметя, еще нейметя...

Разве только волна взметнется —
вольный вал, чье название — стих.



Все своим приходит чередом:
после непоседливости — дом,
следом за везеньем — неудачи,
вслед за крайней ясностью — задачи.
Ну а нам того и не понять —
нам бы лишь мгновенье удержать.
Хочется, чтобы оно застыло,
чтобы время больше не хитрило,
чтобы, коль удачи ты достиг,
век бы она длилась, а не миг.
Нет, вовек не надо неудачи...
Да, но жизнь-то думает иначе.





Время, право ж, неспроста,
но притом и дюже спросту
все поставит на места,
что и как бы ни вознес ты.

Пусть оно, на первый взгляд,
и жестоко и ревниво,
но в итоге будешь рад,
благодарен будешь, брат:
как сто тысяч лет назад,
время очень справедливо.



Фантастика столкнулась с горькой былью:
отнюдь не космос во главе угла.
Поэтому-то все ее усилья
остались втуне. Таковы дела.

И ни к чему, выходит, скорость света;
фотонная ракета,— бог с тобой.
Оправданы ль труды, когда за это
платить буквально надобно Землей?

Богатство впрямь не вечно — иссякает,
чуть найден клад — скорее в оборот...
Вот так отец все злато промотает,
а сын — с сумою по миру пойдет.

АСТАХОВО. XIX—XXI

Высокий барский дом на берегу;
что в нем теперь, мне, право, неизвестно.
Но я о нем не думать не могу,
когда я попадаю в эту местность.

Усадьба здесь изрядная была,
а реченька невзрачная плескалась.
Но вот уже усадьба-то сдала,
природа же смеется, как смеялась.

Сюда не добралось еще пока
дыханье века, смога и бензина.
Здесь вотчина сметаны, молока
и масла (а заводик-то старинный).

Далеко чадный город, вдалеке
все прелести, чем жизнь его богата.
С природою мы здесь накоротке,
на дружеской ноге, запанибрата.

До гроба с ней готовы мы дружить,
пить из нее, как пьют из полной чаши...
До рубежа веков мне не дожить
и не узнать, что выпьют внуки наши.





Со сцены сходят многие поэты.
Глядишь: гремел, у всех был на устах.
Но много ли прошло (увы и ах!) —
а песенка его буквально спета.

Я вспоминаю множество имен,
исчезнувших с полос газет, журналов
И критик их не холит, как бывало,
их славы фимиамом упоен.

Не учинят им даже и разноса
за их недальновидность и грехи...
Зато совсем другие, чьи стихи
и не были вовек предметом спроса,

под спудом лежа или стороной
прошедшие в печати или в книжках,
вдруг станут восхваляться даже лишка,
внезапно став большой величиной.

Конечно же, до этого немало
воды в стихах и реках утечет,
но подлинное Слово не умрет —
не раз уже подобное бывало.

Да, Слово обретет язык и вес
и во весь рост свой встанет исполинский...
Сто лет лежал в могиле Баратынский,
да и давно ли Тютчев-то воскрес!



Необъятный объем языка!
В нем пространства, пути и века,
и болота в нем и облака.

Глубь его глубока-глубока,
ширь его широка-широка,
высь его высока-высока.

Тяжела его поступь, тяжка,
и она ж грациозно-легка:
есть в нем радость — не только тоска.

Все, что сделать способна рука,
что сознанию не снилось пока,—
все в пределах его — языка.

Для познания ж всего языка
вся, быть может, и жизнь коротка:
постигать его — надо 6 века!





Изнашиваем сердце чем попало!
Зима еще — тем более — настала:
врасплох застала и в тоску вогнала
(немного бы, кажись, но и немало).

Ищи благое — скажете — начало:
рюкзак за плечи, песня в час привала,
костра дымок под высью перевала.
(Немного — да? Но, право ж, и немало).

Вот только б юность вдаль не убегала!
Нет, убежит. Ведь ей и горя мало,
что износил ты сердце чем попало
и взять уже не сможешь перевала,
и песню не споешь в часы привала.

А что, если рискнуть начать сначала?
Сначала — не помногу, а помалу,
но продвигаться — как бы ни стонало
в тревоге сердце, как бы ни стучало,
ни отдавало в ребра, ни кричало.

Надежда есть. Надежда выручала.
Пускай таким не быть уж, как бывало,
но часть того, что силою играло,
еще вернешь, быть может: не пропало...
Не сдаваться — вот в чем главное начало,
не отступить — ни много и ни мало!



А за строкою, за строкой
стоят реальные события —
о них и стану говорить я,
их вспоминая день-деньской.

А за цветною вязью слов —
невымышленные герои;
я их характеры раскрою,
коснусь их мыслей, дум и снов.

Опять, наверно, и опять
придет ко мне пора наитий,
но за плечами лиц, событий
и сам ведь буду я стоять.

Смешаюсь с ними вновь и вновь:
от них возьму, обогащаясь,
и к ним незримо примешаюсь
и перелью свою им кровь.

Вот так, в итоге, день-деньской,
в часы наитий и открытий,
из обстоятельств, лиц, событий
строка выходит за строкой.

(Да в ней и я, само собой).



Назвался груздем — полезай
и в самолет — не токмо в кузов.
Взлетай. Над бездной повисай
среди людей, баулов, грузов.

Сиди. Тебя прошьет сквозняк,
чуть не космическая стужа.
Терпи. Лишь так и только так —
впрямь ничего не обнаружа.

Скорей до места — и шабаш!
Пуškai иным тверезым людям
не по нутру такой вояж:
мол, тише едем — дальше будем.

Права и мудрость и молва,
но мы решимся — как отрежем;
и через час, а много — два
уже мы там — в углу медвежьем.

Конечно, многое отнюдь
и не увидится в полете:
пользительней наземный путь,
которым вы еще ползете.

Считать вам не пересчитать
ухабы-рытвины дороги;
а нам уж к делу приступать
велели праведные боги.

А это, право, не пустяк:
и силы тут не оскудели,
и время цело; только так
всего верней достигнешь цели.

Назвался груздем — в самолет!
Дела — такого только рода!
Но все ж хвали воздушный флот —
покуда летная погода.

Иначе те, что вдаль глядят,
считая рытвины-ухабы,
тебя на век опередят...
Ну не на век — на д^ень хотя бы.



ОГЛЯДЫВАЯСЬ НА ЮНОСТЬ...

Там прошлое упрятать было впору
в котомку — в самый махонький мешок,
а будущее — ростом было с гору,
чей верх и не увидишь — столь высок.

Как облако — туман, так нам седины
несет необратимых лет полет.
Теперь-то ниже кажется вершина,
да ноша — тяжелей из года в год.





О, шум приспевшего дождя!
Ты до чего бываешь кстати:
и засыпаю — как дитя,
и сплю — как спится лишь дитяти.

Вот это — свойство! Это — да!
Чем не целительное свойство?
Уж не святая ли —
вода,
что гонит беса беспокойства?

И тонет шорох и шумок
в биенье крови и дыханье...
На миг понижит холодок:
«Неужто осень — на порог?..»
Но тут уж омут столь глубок,
что отключается сознание...





Примчусь поздравить вас с весной,
приеду с солнцем вас поздравить
и не советую лукавить
под стать «кокетке записной».

Не все же истины новы —
куда как много есть и стертых.
Не проповедую лишь мертвых,
поскольку мертвые — мертвы.

А эту — главную — о том,
что наше время не возвратно,
скажу вам просто и понятно
великим русским языком.

Не это, что ли, в меру сил
поет народ в своей частушке
и Александр Сергеич Пушкин
вослед Гомеру возгласил?..



ЛИХОЕ ЛЕТО

Шальной осеннего ненастья
шумит расквашенный июль.
Уж не видать, наверно, счастья,
как ты его ни карауль.

И дрожь берет, и тяжки тучи,
и ветер воет и ревет,
и дождь, надрывный и плакучий,
настырно в окна бьет и бьет.

Таков, таков удел наш лютый—
удел воистину таков:
со днем, и с часом, и с минутой
что делать в пору отпусков?!

А что в полях, что с урожаем?..
Ущерб, убыток и урон.
Со всех сторон обида злая,
со всех сторон, со всех сторон.

Шучу: «Всего-то где-то нужно
немного винтик, что ль, крутнуть,
чтобы взамен тоски недужной —
нас ослепить погодой южной,
нам лето в целости вернуть!»



И вот он — шалый запах сена,
и влажный — светлых свежих вод;
и это — столь проникновенно,
как будто не было невзгод,
как будто не было зимы —
с ее метелями и мглами,
с ее снегами и пургами,
когда стареем сердцем мы
и жаждем вырваться из плена —
будь старец ты или юнец...

Вот этот дух — воды и сена,
вот этот запах, наконец!..



НА «МЕТЕОРЕ»

Девушка, что ты вставала,
что приникала к окну?
Пена волну окаймляла,
солнце слепило волну.

Что эти юные губы
ветру вверяли, когда —
сталью рассечена — гулко,
мощно звучала вода?

В буйном цветении лета,
в блеске безбрежных озер
что ощутила в душе ты,
жажда излиться в простор?

Разве никто не заметил,
глянув хотя б наугад,
как весь твой облик был светел,
как был сияющ твой взгляд?

Юностью, радостью, светом,
скоростью, ширью дыша, —
это, конечно же, это
чуткая, как у поэта,
чистая пела душа...

ФЕРАГОНТОВО

1

Как любил я и воды и сушу
в этом синем озерном краю!
Там купал я и тело и душу —
вспоминаю и осознаю.

Как врачует простор этот чистый!
Да, я в озере душу купал,
а потом под навесом тенистым,
под навесом листвы засыпал.

И вставал я набравшийся силы,
той живой причастившись воды,
так что дни не бывали унылы
и успешны бывали труды...

2

А вверху — и такой он неброский,
хоть и полный величия, — храм,
что сродни своим светлым березкам,
густокронным своим тополям.

И стоит это дивное диво,
духа русского суть, торжество
над осенней тоскою обрыва
и над летним восторгом его,

и над зимней порой, где метели
белый камень снегами белят,
и над вешней: грачи прилетели
и, ликуя, в деревьях шумят!..



Голубая в озере вода
голубое небо отражает,
и выносят сети-невода
рыбу, что размером поражает.

Крупные литые крепыши,
вскормлены и небом и землею, —
зрелище, ей-богу, для души,
лучший дар, ниспосланный судьбою.

А уж как вкусна да как сочна —
век дивился б я на эту рыбу!
Голубая в озере волна, —
руку на сердце — тебе спасибо!





Не беря никакого имущества,
по лесам да по рощам брожу.
В этом важные есть преимущества,
и о них я сейчас расскажу.

Взять ли воздух — напиток целебный:
поищи-ка такой в городах!
(Этим соснам — служить бы молебны,
эти ели — восславить в стихах!)

Всем прохожим дарует рябина
пурпур ягод — бери, коль не лень;
влажный трепет берез и осинок —
жизнь и свежесть, прохлада и тень.

Захочу отдохнуть — и гляди-ка:
осыпающийся иван-чай,
и клесты — юрче солнечных бликов —
только веткой тряхнут — поминай!..

Рощи дремлют — почти что немеют...
Лишь кузнечики, что ли, трещат?..
Ничего за душой не имея,
я нежданно и дерзко богат.

Забываюсь... Но чую могущество,
что и лес источает и дол...
Заряжаюсь таким преимуществом,
за которым сюда и пришел...



Огни большого города — зовут,
огни большого города — сияют
и, предлагая пугнику приют,
ему все блага мира обещают.

А путник, затерявшись в тех огнях,
чуть благ вкусив,— уже и сожалеет
о потонувших в свежести лесах
и о полях, где вольный ветер веет...



Снова сонная осень:
улетевшие птицы,
облетевшие листья,
налетевшие тучи.

Хоть нерадостно очень,
мир ни с чем не сравнится, —
и владеть надо кистью
или словом-созвучьем...



А МЕЖДУ ТЕМ...

А между тем пора ценить тепло.
Не припекло. Увы, не припекло.

Дожди, дожди... В их сети-невода
несутся вихрем листья и года.

А я еще — по-летнему хожу,
здоровьем я еще не дорожу.

Ты спросишь: почему еще я брав?
Иль больше мне дано от жизни прав?

Куда! О том и речи нет, увы:
я — как и все, от ног до головы.

И — как и всех — меня все то же ждет.
Свой шнур бикфордов Время жжет и жжет.

Длинна ль еще оставшаяся нить?
Вопрос... Вопрос... Тепло пора ценить!



ДОМ ОТДЫХА

А в общем, эти берега
немало видели, быть может...
И лишь теперь ничья нога
их не тревожит.

Бывало, день едва встает,
а люди с берега крутого
уже спешат в объятья вод
от зноя злого.

Кто по песку носился вскачь,
а кто валялся, загорая;
от рук отталкиваясь, мяч
звенел, взлетая.

Пронзали воздух визг и смех,
и эхо в рощах отдавалось...
А что теперь от тех утех
осталось?

А ничего! Осенний сон.
Изморный дождь. И стынь. И одурь.
Таков наш отпуск. Таков сезон.
Полезем в воду?

Что ж делать? Каждому — свое.
Ведь перед кем-то и без радуг
должно являться бытие.
Таков порядок!..

...А может, все же мир принять
и в пору мертвого сезона?
В жилетку плакать и рыдать
ведь нет резона.

Стыдись-ка: жизнь течет вокруг,
работа — что тебе в июне.
А ты на отдыхе, и вдруг —
такие нюни!

Забудь о рае в шалаше!
Хотя бы ум заставь трудиться.
Такой же дай приказ душе...
Пусть осень злится!





Темнеет рано. Слишком рано
И белый порошок тумана
скрывает ржавые кусты.
А налетит лишь тень бурана,
крупой швыряющая рьяно,—
так и пойдет гвоздить цветы.

Цветы ли, впрочем? Просто травы.
И те — как после злой потравы:
одни останки трав былых.
Свои у осени уставы.
Грибы и прочие забавы —
в корзине только снов моих.

Грядет ноябрь. Со страшной силой
все отцвело, отгомонило,
перебродило, отошло.
И лодка старая уныла:
вон и река-то, вишь, застыла
да и незнамо где весло...



Уже ноябрь. Увяли все растения,
и вьюга стелет белую постель...
И как приходят в соприкосновение
такие разнородные явления,
как песнь и осень, вера и метель?

ОПЯТЬ ЗИМА

С тебя такое может случиться:
твердым чувствам вопреки
нам с переменной декораций
ты норовишь втереть очки.

Ты снова сыплешь снег за ворот
и, ровно бы в водоворот,
опять ввергаешь мир и город
в пурги хрипящий хоровод.

Видать ли згу-то в завихреньях?
О, ветра с хлопьями порыв
порой с таким ударит рвением,
как будто прет он на прорыв.

Так ты, зима, полна коварства,
опять свершаешь свой налет
на плоть, на дух, на государства
на много месяцев вперед.

А ведь, нимало не страдая,
и я тебя переносил,
пока натура молодая
кипела буйством свежих сил.

Теперь и мех не шибко греет
в твоих владениях, зима,
и над сознанием довлеет
безрадостная полутьма.

И вправду, худом не прельщаясь,
одним прельщаясь лишь добром,
уж я отнюдь не обольщаюсь
ни хрусталем, ни серебром.

(К тому ж и серебро былого
с его прелестной новизной
все чаще выглядеть готово
расхристанною сединой.)

Но — не смиряюсь пред тобою
и не стараюсь ублажить.
Тебя — как все — ценой любую —
опять — пытаюсь пережить.





От суесловья, от застолья,
от близких, даже от друзей
уйду в глубокое подполье
своей души, души своей.

Пора! Я более такую
не в силах суету сносить:
уже мятусь я и тоскую
и спрашиваю, как мне быть.

Но, отрешась от той постылой
судьбы, иной влеком судьбой,
я снова вдруг со страшной силой
затею спор с самим собой.

Пройдут недели, дни, минуты —
и вновь — отнюдь не во хмелю —
расстрою мир, возжажду смуты
и тесный подпол развалю.

Опять потянет в жизнь ворваться —
в любую, только без прикрас...
И это будет продолжаться
в который раз и сколько раз...





Еще середина января,
еще, по правде говоря,
в снегу увязли непролазном,
а уж охвачен дух соблазном:
уж где-то грезится апрель,
а за апрелем — птичья трель
и парус лиственный на древе,
и в ветра радостном распеве
вся сладость лета...
Пусть опять
о том лишь грезить да мечтать —
жива надежда, жить надежде:
уж на дворе не то, что прежде.
Я это говорю не зря —
уже середина января!



АВТОБУС

Под вечер тревожной зимой,
когда за окошком морозит,
усталых с работы домой
трудяга автобус развозит.

Хотя он и не инвалид,
не болен, отнюдь не простужен,—
автобус пыхтит и кряхтит:
он в эти часы перегружен.

И едут отцы и юнцы,
и дочки, и матери — вместе
в неблизкие, право, концы,
в далекие дали предместий.

И дети, бывает, кричат
в такой уплотненной стихии;
и двери входные трещат,
и двери трещат выходные.

И не обойдется порой
без ссоры, без маленькой стычки:
народ, он, понятно, живой,
ему это все по привычке.

Однако чем ближе к концу,
тем больше становится места:
спокойно сидится отцу,
юнцу и стоять уж не тесно.

И каждый вернется домой
(настанет такая минута!),
где пахнет не жгучей зимой,
а светом, теплом и уютом.

На газовой скорой плите
готовится-греется ужин...
А транспорт — опять в суете:
с кольца он уходит загружен.

Ему еще хватит труда —
не всех перевез еще, право:
народ — он ведь едет всегда
и, знамо же, не для забавы.

И я эту долю делю,
и я — не особого рода
и, в общем, признаться, люблю
побыть среди родного народа.

Я слушаю думы его,
и это мне очень подходит;
и ясно, что чаще всего
автобус нас вместе и сводит.



ЖЕНЩИНА

Ты в застольном разговоре —
не Веселость ли сама?
А лукавинки во взоре
хоть кого сведут с ума.

О, шутя с ума тыводишь!
Наши души и сердца
ты шутя в полон уводишь —
в плен без срока и конца.

Да и что же, почему же
и не быть такой тебе:
молодая ты, без мужа,
подотчетна лишь себе.

Все-то в ход пуская чары,
открестясь от ханжества,
ввертываешь в тары-бары
и рискованные слова.

Наповал. Напропалую.
Без оглядки. Напролом.
Заливаешься, балуя,
шутки сыплешь — кровь с огнем...

Ну а может, в этом — вызов?
Не от горечи ль они —
все заскоки, все капризы,
все изыски болтовни?

Искрометность — не с того ли,
не с того ли — шальный вид,
что от некой тайной боли
и твоя душа болит?

Не с того ли — вся бравада,
что тебе не повезло?
Надо петь, смеяться надо,
чтоб душе забыть про зло?

Может, в ней гуляет стужа,
за весельем — стынь тоски?
...Нет семьи и нету мужа,
хоть кругом холостяки.

Те — одну и видят шутку
в этом смехе и гульбе.
А тебе, быть может, жутко...
Не до слез ли уж тебе?





Меня однажды предал друг,
сразивши наповал:
внезапно вышло это, вдруг,
я и не ожидал.

Потом — во всем виновен хмель! —
прощенья он просил:
себе он, мол, не ставил цель,
лукавый искусил.

И минуло немало лет,
все вроде б отошло;
но на душе остался след —
ее как бы прожгло.

Я друга вынужден встречать:
так тесен мир людской.
И надо б руку подавать...
Но — что это с рукой?..



КОЛЬЦО

Кто-то его надел —
это кольцо.
Видно, вперед глядел —
глядя в лицо.

Или же не в лицо —
в душу глядел?
Вот потому кольцо
твердо — надел.





Озорная, озерная,
смотришь вдаль с валуна,
точно в трубку подзорную —
из ладоней она.

Что вдали-то мерещится?...
Не а ладах с тишиной,
только озеро плещется
крупно-спелой волной.

«Метеор» ли стремительный,
тихоходку ль баржу
ожидает волнительно —
я тебя не спрошу.

Над водой беспредельною
словно слышу твой зов...
Вся ты, вся — неподдельная
верность, жажда, любовь.





Много в женщинах есть и хорошего,
и плохого — по-женски плохого.
Что хорошее — это не дешево,
что плохое — не из дорогого.

То горюю они — за любимого,
защищают от всяких напастей
и, несчастного, роком гонимого,
награждают неслыханным счастьем.

То на что-то они обижаются
и с непонятой смотрят тоскою
(недостаточно-де обожаются
половиной своею мужскою).

То клянутся любовью вечною
и ее умножают стократно,
то влюбляются в первого встречного
и не вспомнят дорогу обратно.

То... Но дело не в перечислении,
все попробуй поди перечисли.
Остановишься в недоумении,
и мешаются разные мысли.

Насмотрясь на контрасты житейские
и характеры многие помня,
не прельщаюсь я ролью судейскою,
что по счастью, и не дано мне.

О КАЖДОМ ИЗ ЛЮДЕЙ...

О каждом из людей, с кем ни встречался, сказать, наверно, можно с целый том: тот был женат, да с лихом повенчался, та замужем была, да дело в том, что муж повесил детушек на шею ее терпенью, горю и нужде, и вот она, отнюдь не хорошея, вся — точно памятник своей беде.

О каждом из людей — почти о каждом могу я что-то светлое сказать: кому-то помогали все однажды трясину миновать, не увязать. кому-то помогали подниматься лежащему во прахе и в пыли и помогли подняться, может статься (не их вина, коль всем не помогли).

О каждом из людей, которых видел, чей след остался в сердце у меня, могу сказать, что я их не обидел ни до, ни после черного их дня; и горько будет мне, коль злом помянет и тот меня, что прежде другом был... Но нет же, он на правду не восстанет — не может быть, чтоб он добро забыл!

ОСЕННИЕ ГРИБЫ

Как я любил осенние грибы —
и не грибы, вернее, а скитанья
по золотеющим уже лесам
с той женщиной, с которой судьбина
свела меня... С утра всходило солнце
и вытравляло из лесу туман
(а тот — не лето! — за кусты цеплялся);
потом — весь день — был шелест на ветру
листвы, что свой конец предвозвещала,
и солнечные — в золоте — поляны
слепой и безотчетной были грусти
полны... А мы — мы все ходили
и находили, радуясь, грибы,
и подкреплялись тем, что бог послал,
и запивали ясно что не чаем...
Потом опять искали, находили
грибы... А может — радость? Может — счастье?
Все может быть. Теперь это — давно.
Прошло сто лет. Подробностей не помню.





Непогода, что злая собака,
сорвалась ненароком с цепи.
Сколько шалого снежного мрака,
сколько ветра, куда ни ступи!

Он объемён, огромен, неистов,
он чудовищен, даже крылат.
Зажимай себе уши от сзиста,
а не то перепонки болят.

Но — довольно об этой напасти.
Как несчастье в делах игрока,
свистопляска, потоп и ненастье —
уж конечно же, не на века.

Лишь скорей бы добиться поправки ..
Снизойди к нам, весны благодать!
К нашей жизни не будет добавки,
так что некогда, право, и ждать.

Весь я — чаянье ровной погоды,
сплю и вижу отныне одно:
взгляд спокойной и ясной природы,
белой ночи, глядящей в окно.

Дух исхлестан, измотан, измаян,
приобщиться он жаждет к добру.
Потому-то собаку хозяин
и загонит назад в конуру.



Как за окном пурга ярится!
Но ты живешь в близи такой,
что до тебя, как говорится,
подать рукой, подать рукой.

Входя, ты вносишь дух метели,
захлестывающей апрель.
Но мне, забывшему о хмеле,
весенний ты даруешь хмель.

Опять зима, как наважденье,
идет на штурм — в который раз!
Но я ношу в душе виденье —
разрез твоих крылатых глаз.



Затопленный весной, город жив:
он ожил с перекличкой воробьиной,
он возрожден дыханием капли,
он жизнью пьян от солнечных лучей.

И так синеет пристальное небо,
столь свежий свет идет от облаков,
что зренье различает те черты,
что были до сих пор неразличимы...





Пишется... Бывает, что запоем:
мысли и слова несутся роем
на огонь души, как мотыльки...
Это исцеляет от тоски.

Но как только пламень исчерпаешь,
звезд с небесной выси не хватаешь —
до того тоскуешь да грустишь,
что ничем себя не исцелишь...



ГРОЗА В НАЧАЛЕ МАЯ

Какими грозными громами
гремела майская гроза!
И дарят женщины на память
свои улыбки и глаза.

Они, весенние, проходят
(в очах — и блеск и торжество!)
и за собой сердца уводят
ценою взгляда одного.

Пресветлый май!.. Лучи и лица!..
Душа, как прежде, не вольна
сияньем этим не упиться,
как чашей пенного вина!

МАЙ

Какая вымахала зелень!
Какой махровою листвою
(причем всего-то за неделю)
обзавестись древа успели —
едва весна и в самом деле
дохнула майской теплотой!

Такого я не помню года,
и птицы свищут мне с ветвей,
что и они не помнят сроду
роскошной этакой погоды
и для души такой свободы
на милой улице моей...



Дороженька: подъемы, скаты
и нежный пух зеленоватый
с весной воскреснувших берез
в преддверье первых майских гроз.

О, дым, сквозной и невесомый,
очарованье новизны!
Как будто не были знакомы
душе видения весны.

Как будто и не видел сроду
воздушность красок, их полет...
С того-то, глядя на природу,
душа ликует и поет.

БЕЛАЯ НОЧЬ

У белой ночи свой расчет,
свои, русалочки, повадки:
она играет с нами в прятки
и вокруг пальца обведет.

Вся — наважденье, вся — обман,
она — как призрак, привиденье,
и сомневаешься в свеченье,
и свет ее — как бы туман.

Гляжу как будто в забытьи:
русалка крадется на сушу,
и все томят и мучат душу
безудержные соловьи.

Но вот и явь: она в руках,
в моих объятиях, русалка;
и расставаться с нею жалко
и надо: солнца свет в глазах!





Весенний день объемён, словно дом,
черемухою пахнет в доме том.

Блестят его зеленые полы,
светило освещает все углы.

А за окном — не то что зреет ночь:
такая ночь способна дню помочь,

способна день от порчи уберечь —
о белой ночи здесь заходит речь.

Порою дом громами оглушен
и вслед за этим — ливнем освежен.

И радуга порой над ним горит
и много-много сердцу говорит.

Всем хороша погода и красна —
как долгожданна, право же, она!

И, жизнью и погодой дорожа,
себя как дома чувствует душа.





Затоплено мое заречье
буйнокипящею листвою;
листва взволнованною речью
со мной глаголет и с тобой.

О чем? О том, что много света,
что ночи белые легки,
что враз, единым махом лето
смело все месяцы тоски.

С кипучей, шалой шевелюрой
(не окорнали их еще!)
деревьев бодрые фигуры
кладут нам руку на плечо.

И ободряют нас — по-братски
или по-свойски, все равно,—
как исполины древней сказки,
где все к добру прийти должно.

Шальной грозою им омыться,
вобрать в себя и чад и муть,
и дать приют бездомным птицам,
и людям свежесть в грудь вдохнуть.

Вот таковы деревьев свойства,
работа их и их игра...
Добра желаю им по-свойски,
по-братски им хочу добра!



Судьба! Ты истинно слепая —
о, ты отнюдь не ЭВМ:
кого-то с кем-то сочетая,
ты руководишься чем?

Куда как редко так бывает,
что вот по всем статьям сошлись:
ее ничто не угнетает,
его ничто не тянет вниз.

Куда как часто — лишь морока
и на двоих одна тюрьма.
И раньше срока, раньше срока
сходить с ума? Сходить с ума?

И расстаются... Через годы
встречают близкого себе,
как ты вошла в мои невзгоды
и стала вехою в судьбе.

И души, будучи такими,
сойтись могли бы и хотят, —
да тьма условностей меж ними
и тьма рогаток и преград.

И ты... По этой-то причине
ты не моя почти уже...
Покинешь ты меня, покинешь,
хоть по душе, хоть по душе.

Я загрущу, я закручинюсь,
еще сильнее засеребрюсь.
И люди скажут: много вынес.
И впрямь нелегким будет груз.



Разрыв... Я не думал, что это
болезненно столь может быть:
вернуть бы мне прошлое лето—
не стал огород городить.

Я б стал положительней, право,
я веру бы стал проверять—
и тут бы судьбине лукавой
такой оборот не принять.

А ныне?.. Что ныне, отныне?
Как после крушенья встаю:
стою посредине пустыни
и местности не узнаю.

И кто мне и как мне поможет,
кто в этот неласковый час
даст руку, поддержку предложит
и выведет к жизни как раз?





Не оживить уже букета,
когда цветы немало дней
стоят в квартире, не согреты
теплом живительных лучей.

Как ни меняй в сосуде воду,
как ни усердствуй, — не вернуть
присущую цветам природу:
нет, свежестью им не дохнуть.

Банально это все и ясно,
но если жизнь поворошить —
мы сколько раз желали страстно
век сорванных цветов продлить...

И выходило все напрасно.





Птичьему щелку и свисту —
душу отдам, чтоб она
стала искристой и чистой,
точно как речка, — до дна.

Знаю: волшебная сила,
в листьях и водах скользя,
стольких уже излечила,
что надивиться нельзя.

Есть еще травы и воды,
сосны в родной стороне.
Дух всецеляющий природы,
ты пособил бы и мне.

В душу вливайся, врачюя
запахом пашен и рек.
Всюду тебя различу я
ныне и присно — вовек.



РУССКИЙ

Я изучал чужие языки,
я взваливал их груз себе на плечи,
но все они как будто не с руки
пред широтою плавной русской речи.

Не благо ли, что корни и ростки
в России у меня, а не далече,
что русским духом я навек отмечен —
с рождения до гробовой доски.

Не ведаю, что было б, если б я
не смог писать на этом величавом,
вобравшем всю объемность бытия,

естественном, раздольном, нелукавом...
Рука б не поднялась тогда моя
и за пером не потянулась, право.



МУЗЫКА

В минуты музыки печальной...

Н. Рубцов

А музыка — грустит сильнее меня!..
Иль потому — что неодушевленна,
иль, может, у нее свои законы,
и бог ей придал более огня,

и дух ее — людскому не родня,
и больше к сверхъестественному склонна
властительница звуков, непреклонно
свою загадку вечную храня.

И скрипки скорбь, и вопли саксофона —
всего лишь слепок с нашего огня;
а вот поди ж ты, — как во время оно,

язык и мысль собою заслоня,
изверившихся, сырых и влюбленных
они влекут — волнуя и маня!



ЛИСТОПАД

Пора опять печальная пришла:
вселенским плачем осень разразилась,
и роцца безнадежно обнажилась —
до прутика, до ветки, до ствола.

Страшней в такую пору силы зла:
а вдруг судьба к тебе переменилась
и больше уж свою не явит милость,
и злобный рок сожжет тебя дотла?

В такую пору тянет к огоньку —
с подругой разделить печаль-тоску,
с товарищем кручину-грусть развеять,

забыть и грязь, что ты в пути месил,
и ветер, изо всех ревуций сил,
и ржавый дождь... И мир в душе посеять...





Опять пойду в моих ночных скитаньях
искать тебя, искать, забытый ветер,
забытый ветер юности, любви
и странного святого беспокойства —
из тех времен, когда я не держал
еще в руках синицу, созерцая
плывущих в поднебесье журавлей,
и, даже несмотря на ложку дегтя,
мед жизни не горчи́л, ее вино
не опьяняло — лишь воспламеняло
и окрыляло... Ныне это сон.
Забытый ветер, изменилась жизнь —
и явственно: права диктует возраст.
Но все равно — в ночных моих скитаньях
над омутами бреда, сновидений
пойду тебя искать, забытый ветер,
забытый ветер юности, любви
и странного святого беспокойства.
Быть может, и найду, забытый ветер,
быть может, и найду тебя, найду...





Т. Алейников

Поскольку едва ль интересны
подробности жизни чужой,
скажу я не все, что известно,—
кой-что утаю за душой.

Но буду писать — всею кровью,
дыханьем, которым живу,
и то, что мы звали любовью,
я так и в стихе назову.

И как меж камней пробьется
трава, непокорна судьбе, —
подробность меж строчек прорвется
и скажет сама о себе.





Все леса оберет листопад,
станут ночью туманы клубиться,
и приснится зимующим птицам,
что с утра непогода ярится,
и приснится зимующим птицам
снег, и слякоть, и буря, и град.

Их юдоли кто может быть рад!
Но недолго и нам веселиться:
двум случайно слетевшимся птицам,
нам судьбина велит разлучиться —
разлучиться приходится птицам,
что не вместе, а порознь летят...





Море гудит, словно это
мощный седой водопад.
В Латвии кончилось лето.
Ливень. И листья летят.
В парках, садах — ни просвета:
мокрый глухой листопад.

Так же и ты промелькнула...
Отблеском лета светя,
поздним теплом опажула,
стужу и стынь отведя.
Но, как и лето, минула,
скрадена сетью дождя.

Грусть мою в светлом вагоне
не увезла ты с собой,
грусть — не уймет, не схоронит
гулкий у моря прибой.
И — я кидаюсь в погоню
следом, вослед за тобой.

И догоню, что случится
вечером тусклого дня
(как непогода ни злится,
мысль о полете гоня):
крылья не только у птицы —
крылья растут у меня!





Все больше размываются черты
(их памяти уже не сохранить) —
черты твоей неброской красоты,
что ярче всех ярчайших, может быть.

Зарисовать их силую для себя,
да без таланта — разве воссоздашь:
брошаю лист, бумагу загубя,
кидаю и бесплодный карандаш.

Так что же остается-то во мне?
Воспомянье. Только лишь оно.
И жить ему на дне, во глубине
души моей вовеки суждено.

Всмотрюсь в воспоминаье до глубин —
и, отдавая темной глубиной,
пускай на миг, хотя на миг один,
ты вся предстанешь вдруг передо мной...



ПОДОШЛА ОСЕНЬ

Сколько осени в этом году —
беззаконной, безвременной, ранней!
Потому никуда не уйду
от нагрянувших воспоминаний.

Как их много, когда настает,
набежит, налетит и нахлынет
листопад, листосброс, листоlet:
всю-то душу он, кажется, вынет.

Будто впрямь с обнаженьем деревьев
обнажаются сердце и память,
точно осень, и к ним подоспев,
обнажает их сущность и ранит.

Иль она пробуждает в крови
ощущенье, что все — быстротечно,
ставя подле весны и любви
неизбежное: осень и вечность?

Знаю только: когда листопад
разыграется напропалую, —
где сильней она — горечь утрат,
где прощальнее — боль поцелуя!..



**Влюбиться! И мертвою хваткой
держаться уже за любовь,
былого не вспомня украдкой
и новым не мучая кровь.**

**Влюбиться! И звезды заметить,
которых не видел сто лет,
и вдруг с удивленьем отметить,
что прожитых лет тебе нет.**

**Влюбиться! И этою тайной,
как самым святым, дорожить,
и связью, сначала случайной,
как хлебом и воздухом, жить.**

**Влюбиться! И быть защищенным
любовью — как верным щитом,
который найти не влюбленным
и днем невозможно с огнем.**

**Влюбиться! С тревогой в сознание,
что все это — на волоске...
...И так же, как в юности ранней,
сжимать ее руку в руке...**



Я как подарок принимаю,
я принимаю как награду,
что ты — земная, ты — земная.
И в этом — радость.

Еще я многого не знаю,
но только с чувством нету сладу.
Ты вся — земная, вся — земная.
И в этом — радость.

Тот случай я благословляю,
тот миг — с полслова, с полувзгляда.
Земная ты, вполне земная.
И в этом — радость.



Дай бог удержать мне его —
подарок нечаянный этот,
иначе все будет мертво,
ни счастья не станет, ни света.

Дай бог мне его удержать,
судьбе удивляться, дивиться —
ведь все же решила мне дать,
чему подобает молиться.

Дай бог удержать мне ее,
коль скоро в моей это власти:
иначе — на что бытие
без веры — пусть в хрупкое — счастье...



Счастье выпадет нежданно,
словно светлый дождь грибной,
и сбегут, как черт от ладана,
все печали до одной.

Счастье свалится нечаянно,
точно на́ голову снег,
и несчастный, неприкаянный
станет вмиг счастливей всех.

Словом, счастье не раскается
и хоть раз да на веку
и предстанет, и объявится,
и привалит дураку!





С тобой — пешком, с тобой — в такси,
с тобой — в веселье и в заботе...
И что ни вздумаешь — проси:
исполню все в конечном счете.

Как будто душу вихрь взметнул,
ей, закосневшей, задал встряску,
и солнцем ночь перечеркнул,
и распахнул ворота в сказку.

Уж не живая ли вода
в моем стакане оказалась?
Не молодильного ль плода
отведать мне-таки досталось?

Вот что судьба дала душе.
Душа все думает о чуде.
(Душе мерещится уже,
что даже старости не будет!)

И пробудил ее глагол,
и вся она затрепетала.
А с тем и крылья я обрел —
их так, насущных, не хватало!

Вот что теперь в моей судьбе,
какой сподобился удачи...

Ты понимаешь — о тебе
я говорю. О ком иначе?



Все вымерзло в пустыне ноября,
и марсианская температура
полусухой и мертвенной зимы
творит бесчинство над моей душою.

В такие дни одно меня спасает,
и это — нежность: думать о тебе
и ведать, что ты — есть (пускай далеко,
пусть не бок о бок, пусть не пересекшись
с моей судьбой), что можно ощутить,
как женщина не темной полосой,
а светлой входит в сердце. Только свет
способен жизнь поддерживать. Лишь свет,
а не огонь. Огонь спалить способен,
испелить, повергнуть в темноту...

Мне ровный свет найти давно хотелось,
об этом я так много, долго думал.
Но в эти дни я думаю о том, что
я, может быть, его уже нашел..,



НА РОДИНЕ МОЕЙ

Уже не желтый вихрь змеится по панели
на родине моей, не мутный листвою:
на родине моей снега осатанели,
воистину зима на родине моей.

Но есть еще во мне и впрямь остаток лета,
да, есть еще во мне, что в силах греть вполне:
я осенью собрал запас тепла и света, —
накопленные впрок, они еще во мне.

Я грелся у костра. Я славословлю чудо,
что и в промозглой мгле горел он до утра.
Я грелся у костра. Еще, надеюсь, буду
я греться от него — я грелся у костра!





— Что будет с нашею любовью
седой бесплодною зимой,
что равносильна доле вдовьей,
подобна старости самой?

Что будет с нашею любовью,
когда разлука, что чума,
нас выпьет вместе с нашей кровью,
съест поедом и задарма?

С любовью нашею что будет,
когда начнем сходить с ума,
и душу на день в нас пробудит
лишь получение письма?

.

— Да что такое с нею будет?
Ну и заладил вновь и вновь...
Коли зима ее остудит —
так, значит, это не любовь!



ОБРАТНЫЙ АДРЕС

Обратный адрес ей пишу,
да сомневаюсь, что ответит,
хотя и знает, что на свете
я только ею дорожу.

Обратный адрес припишу
и сам себя — своею волей
опять в подполье засажу,
йду в работу, как в подполье.

И снова тронет мир зима,
и серебристые морозы
прибавят мне забот и прозы,
а я все буду ждать письма.

Все буду ждать, все буду ждать...
Но если бы она любила,
совсем бы и не нужно было
об адресе напоминать...

□



До тебя доведут поезда,
донесет к тебе птица стальная.
Лучше поздно уж — чем никогда,
лучше поздняя — чем никакая.

Что под этим имею в виду —
ты сама ощущаешь, ей-богу.
Я имею в виду не беду,
я не с нею собираюсь в дорогу.

Суеверный, бросаться отнюдь
я не стану святыми словами.
Суесловье способно спугнуть,
пусть без слов это будет меж нами.



Ты красивой такой уродилась,
что я мимо чуть-чуть не прошел:
красота твоя не суетилась,
чтоб скорей ее кто-то нашел.

Ты бываешь такую красивой,
что во мне замирает душа,
как на некое дивное диво,
на тебя наглядеться спеша.

Ты красивой такой и пребудешь
и — пускай облетают листья! —
ты меня никогда не остудишь
увяданьем своей красоты.

ЧУДО

Есть ты и я. А это — словно чудо!
(Хотя чудес за вечные года,
по-видимому, не было покуда,
да, видно, и не будет никогда).

И все-таки — за чудо! Буду, буду
я грезить зноем в злые холода
и наступлю на битую посуду:
все — ерунда, все беды — не беда.

За чудо! И пускай к добру ли, к худу —
хоть в омут головою, хоть куда...
И это благодать, а не причуда, —

а то бы жить не стоило труда.
Пусть — может быть! — и ждет меня остуда, —
за чудо! — да горит его звезда!..



ПИСЬМО

В снегах, заметён, завьюжен,
охвачен свирепой стужей,
мой город тебе не нужен? —
Мой город других не хуже.

Пускай зима гоношится,
пускай поморозня злится, —
давай собирай вещицы
(ведь страшно — только решиться!).

Пускай побудешь недолго,
но ты не жалея нисколько;
пускай будет мало толку,
но ты не раздумай только.

И верится, нет сомненья,
что ты привезешь потепленье:
ведь это ж будет явленье,
достойное удивленья!





Ты хочешь верить в добрые приметы,
мечтаешь, чтоб творилось лишь добро;
желание естественное это
и на тебя кладет свое тавро,
и на меня, коль скоро я — с тобою,
и на весь мир, который обнял нас;
и чудится: желание любсе
исполнится в подобный добрый час...





Ничего. Никаких тебе дел.
Так-таки ничегошеньки нету.
Улетел человек. Улетел.
Лишь в квартире — следы и приметы.

Где она, телеграмма, хотя
уже столько часов миновало?
И терзаюсь я, точно дитя...
Только этого мне не хватало.

Говорю себе: все вопреки
здравомыслию, логике ясной.
Но у страха глаза велики —
вот несчастье и мнится заглазно.

Что ты с сердцем поделаешь тут —
для него-то ведь логики нету!
Как живые, тревожат и жгут
неживые следы и приметы...





С тобою точно бы беседую,
когда пишу тебе слова.
(А вострепелюсь — и тут же сетую,
что далека твоя Москва).

Еще шепчу тебе признания
и глажу волосы твои.
(А вострепелюсь — в глазах прощание
и ропот прерванной любви).

Еще расстраиваться не с чего:
твое лицо, бровей разлет.
(А вострепелюсь — и хрип диспетчера,
и взмывший в небо самолет).

Еще в тебе души не чаю я,
не чую боли и беды.
(А вострепелюсь — и различаю я
кругом одни твои следы).

Но забываюсь — и не сетую,
что далека твоя Москва:
с тобою точно бы беседую,
когда пишу тебе слова.

ВОСПОМИНАНИЕ О ЛАТВИИ

Осень в Латвии — нет, не такая,
как у нас: не настолько сильна;
да и море шумит не смолкая
и на пляж набегает волна.

А еще потому все иначе,
что от века поставлены тут
слишком чинные, четкие дачи,
где газоны, асфальт и уют.

А еще потому не такая
даже непогодь с ветром сырым,
что ее озарила, сияя,
чудо-женщина светом своим...





В чужих краях о Вологде — по песне
всего и судят: дескать, палисад;
а в остальном он, город мой, известней
не более, чем век тому назад.

Но ты была здесь —
и жизни ты свидетель,
что и до нас доносит новый день.
Где палисады канувшие эти?
Пусть не наводят тени на плетень.

И вдаль и вширь он, город мой, раздался
и к этажам привык теперь большим.
Он нервным стал, с покоем он расстался,
уже он тяжело дышит от машин.

Но старину ты видела седую
у стен его неброского кремля.
Широкий ветер прошлого там дует,
былым — насквозь пропитана земля.

Он, город мой, столетья там считает.
Тебе он вновь, мой город, будет рад.
А впрочем, если надобность такая,
я отыщу тебе и палисад.





Ты далеко. Меж нами злые вьюги
на тыщах верст морозный крутят прах.
Зачем тебе сегодня быть на юге?—
ведь я затерян в северных снегах.

Ты далеко. А нас автобус ветхий
в студеной город мчит по большаку,
где ты скорей всего ни в кои веки
не побываешь на своем веку.

Мои друзья — меня моложе малость,
друзей моих — я старше, в свой черед.
Мы входим в клуб. Их не берет усталость,
ну а меня она уже берет...

...По рангу и по возрасту сменяясь,
мои друзья — звонки, что соловьи...
И я еще отнюдь не запинаясь,
когда произношу слова свои.

И мне еще слагать стихи охота,
как в юности, где мысли так легки,
и хочется свободного полета,
широкого дыхания строки.

Но нет: пора, пора уже признаться,
что молодость — не вечна: отошла.
Пора признать: за нею не угнаться,
поглубже мне пора вникать в дела.

Хочу того, когда гляжу на лица
сидящих здесь и слушающих нас.
Хочу ни в чем уже не ошибиться,
ни обмануть ошибками в свой час...

...Товарищ наш, когда кончаем дело,
зовет к столу. Есть радость во хмелю!
Не откажусь. Но — юность отшумела! —
свое вино я только пригублю.

Пора мне быть серьезней. И не гнуться,
как молодые гнутся деревья.
Мне надобно ни в чем не обмануться,
и ясная нужна мне голова.

Но вот и на меня уже влияет
пусть небольшой, но выпитый глоток,
и вновь к тебе душа перелетает:
далекий путь душе ведь не далек.

Зачем тебе приспичило уехать,
чтоб мне терзаться — пусть четыре дня?
Какая там потеха и утеха?
Как будто червь грызет сейчас меня.

Ты далеко. И я тебя ревную
к твоим — таким далеким — городам.
Но буду ждать — тебя, а не иную,
и никому на свете не отдам.

Прислушайся ж и ты к ревущей вьюге,
что замечает путников, губя.
Не мешкай на своем тепличном юге —
ведь все равно я стану ждать тебя.



РЕВНОСТЬ

К умолчаньям,
к твоим телефонам, звонкам,
к неожиданным этим отъездам,

к расстояньям,
к каким-то внезапным гостям,
к непредвиденным чьим-то наездам,

к расставаньям,
к метелям, буранам, ветрам,
заметающим время и место,—

с нарастаньем,
причем не по дням — по часам,
так что даже в груди уже тесно...



«Ищите женщину!» Она — причиной
всему на свете, всему на свете,
и от нее мы, давно мужчины,
всегда зависим, как будто дети.

Приносит радость, несет удачу;
но чуть обидел ее в ответ ты —
она уходит, едва не плача...
...Ищите женщину — как в поле ветра...

РЕЙС №...

Встал месяц с правой стороны,
а пять минут назад
на кромке белой тишины
еще пылал закат.

Его сосед мой — востроглаз!—
космическим назвал,
как будто в космосе не раз
такие наблюдал.

Что ж облака тогда — снега
на Марсе, на Луне,
где месяц и его рога
уместны лишь во сне?

И две-три краски тут всего,
и первозданен цвет,
и кажется, кроме того,
что черной краски нет.

Незамутненность, ровный свет,
и все так просто здесь,
что проще, видимо, и нет.
Не это ль рай и есть?

Но прорывает самолет,
как поршень, облака,
и за стеклом бурлит, течет
вся прорва молока.

И обнажается земля,
и вместе с ней, на ней—
леса, дороги и поля,
и тьмуца-тьма огней.

В глаза врывается, растет
обжитость сотен верст,
и мир — совсем наоборот —
отнюдь, отнюдь не прост...



Мне вдруг иным предстал весь белый свет —
была ты по-особому красива:
ведь женщина с иглой — такое диво,
которому названья даже нет.

Наружно, зная, я тем не дорожил,
что веет и семьею и уютом,
но внутренне, среди душевной смуты,
я по тому, конечно же, тужил...

Примерку ты на мне произвела —
и ножницы в материю вонзились,
чтоб низ и рукава укоротились,
а там уж порботает игла.

Я словно бы впервые наблюдал
все тонкости и все перипетии
и ощутил, как будто бы впервые,
все, что давно забыл и растерял.

Ну что ж, убавь (чуть-чуть она длинна)
подарок твой — красивую рубашку:
тебе это ни хлопотно, ни тяжело
и этим ты — ну вся! — поглощена.

Но пусть она и малость велика —
твоя любовь зато не мелковата.
И да пребудет чувство это свято,
не ущербляясь даже и слегка.



Под таким набухшим небом,
беременным глухим дождем,
я, кажется, ни разу не был.
А может, был при всем при том?

Нет-нет, не я отсюда — корень
былых прапращуров моих;
и сколько же — из первых зерен —
взошло колосьев налитых.

Нет-нет, я здесь, конечно, не был,
но я — от тех хлебов зерно,
что из-под северного неба
чуть-чуть на юг отнесено.





Все до поры, до времени, до разу,
покуда гром не грянет, не пробьет
тот час для нас, когда отнюдь не разум,
а сердце вдруг прозреет и поймет,
и ощутишь, что да, полунапрасно,
полувпустую прожил столько лет
и не познал, что истинно прекрасно,
и прозевал в полупотемках свет.

В прозрении — спасение. Однако
не только родилось оно в душе:
спасение — живое — там, за мраком,
уже существовало, и уже
давно могло ко мне прийти спасенье
и скрасить жизнь мою уже тогда,
но мимо проходило в отдаленье,
не мимо — лишь невзгоды и года.

Приходится признать, что только случай
его ко мне приблизил, точно гром
осенний грянув и от неминуемой
беды избавив, — этот гром с добром,
что сблизил нас: в твоём лице — спасенье,
в моем — прозреньё: разные миры,
что жили друг от друга в отдаленье
до времени, до часу, до поры.





Не видя и не слыша (не тревожит!),
в толкучке, в скопе, в толчее, в толпе
проходишь рядом с прошлым ты, быть может,
и, право, не до этого тебе.

Забыто-незабытые — в потоке,
в толпе, что и в пустыне, боже мой!—
те люди не близки и не далёки,
а совершенно в плоскости иной.

И для меня когда-то дорогое —
невидимо, неслышимо давно:
одно проходит прошлое, другое —
как будто бы стеной заслонено.

Вот так-то: в толчее или в пустыне,
не злы друг к другу, но и не добры,
то — антижизни, антисудьбы ныне,
античастицы и антимирь.

И одного у случая слепого
прошу я: да не мучит меня страх,
что мы с тобой ненужно, бестолково
окажемся в различных плоскостях,

когда не различают даже взглядом
один другого в антибытии,
не видя в трех шагах, не слыша рядом —
среди толпы, пустыни, толчеи...

НАЧАЛО МАРТА

Я не заметил голубей —
заметил я, что было тихо
и что купался воробей
перед своею воробьиной.

(Верней, вниманье на него
вперед меня ты обратила
и, может статься, оттого
его еще приободрила).

Спеша понравиться своей
подруге ласковой и нежной,
нырял он в лужу перед ней
от всей души своей мятежной.

А что мятежная душа
в комочке плоти обитала,
я раскусил: вода свежа,
пора купанья не настала.

Нырнет — и перышки, скача,
давай ерошить, отряхаясь,
схватить простуду сгоряча
притом ничуть не опасаясь.

А воробьи на него
во все глаза свои взирает
и оттого и оттого
его еще приободряет.

Он из души ее исторг,
наверно, просто восхищенье;
и ты сама — сплошной восторг
с собой являла в то мгновенье.

И нам на птах — все может быть!—
еще бы долго любоваться,
но жизнь велит немедля жить,
велит разлука расставаться.

И та волна тепла,
волна,
что наши души заливала,
перед лицом забот она —
увы и ах! — конечно, спала.

Но думаю: ни ты, ни я —
добра хлебнем иль хватим лиха —
не позабудем воробья
и не забудем воробьюху.





И вот уже первые листья,
и значит: взаправду весна —
тончайшей и точною кистью
свой колер наносит она.

Из почек, земли и расселин
выходит — щемяще-хрупка —
младенчески-нежная зелень,
еще рахитична, робка.

И цвет ее — не запыленный,
однако с течением дней
уже он пылится, зеленый,
густеет от спелых лучей.

И воздух плотнеет, и нету
утрами хрустальных прохлад;
весна цепенеет, а лету
иной подобает наряд.

И, с пухом прощаясь бесплотным,
запомним, что с этой поры
придется привыкнуть к полотнам
бескрылости, жажды, жары.

Весенняя же невесомость,
крылатость ее новизны,
влюбленность в ее окрыленность —
до будущей это весны...

СЕВЕРНЕЕ УСТЮГА

Зима-зимою в дебрях занесенных,
заматерела в ельниках застылых,
и я в снегах, слезавшихся и сонных,
ничем-ничем спугнуть ее не в силах.

А там, где ты, весна уже дымится,
и хмель ее над скверами-садами
твой город пьет и, шумный, весь лучится,
зеленое предошущая пламя.

Зима, как говорится, наказание,
а от весны светлеют, а не плачут,
и я хочу вдохнуть ее дыханье —
с твоим дыханьем слиться это значит.



Наш час — он скуп и дан судьбой взаймы
(используй до последнего момента!) —
и средь полувесны-полузимы —
дороги, темной, вытаявшей, лента.

Весна — взаймы. Живучая зима
еще не сожжена ее дыханьем.
Дорога все петляет, как змея,
а под конец ужалит — расставаньем.



СТУЖА

В окне — прямые сосны
и жгучие созвездия,
морозно, поздно, грозно;
но в этом — и поэзия.

Морозно, поздно, звездно,
и жизнь — страшнее лезвия,
и жуть внушают сосны;
но в этом — и поэзия.

КОНЕЦ МАРТА

И даже на пороге пробужденья
снега в полях России величавы:
как чистый лист размером с мирозданье,
на сотни верст — снега и тишина,
которую лишь поезд нарушает,
разбрызгивая гром из-под колес —
тот гром, что не пугает даже лосей,
забредших на опушку и жующих
то ль веточки деревьев, то ль кору...





Внезапно сердце заболит
(легко отыщется причина!),
и как бы ты ни делал вид,
что крепкий ты еще мужчина,
что хоть куда, что молодчина
и что отнюдь не инвалид, —
придет печаль, придет кручина,
и сердце пуще заболит.

А кто излечит от того?
Такая тут нужна подруга,
что, словно в сказке, ничего
взамен не требуя от друга,
без страха, ужаса, испуга
свою бы душу отдала,
его врачуя от недуга,
и тем от гибели спасла
жестoko страждущего друга!





О, как он был любим тогда, мой друг...
Его, казалось, женщина из рук
не выпустила б, на него молясь,
вся излучая свет и вся светясь
улыбкой, взглядом, всей своей душой...
Не видел я любви такой большой.
Порыв ее любви был всемогущ —
она б к нему прильнула, словно плющ,
не будь тут рядом с ними никого,
кто б видел в этот миг ее, его.
Я не встречал любви такой большой,
не испытал... Для них совсем чужой
стоял я, третий лишний, черт-те кто —
почти никто, совсем почти ничто.
Как другу я завидовал тогда
он не был обречен на холода,
богаче богачей он был богат,
крылатей всех крылатых был крылат.
Удел его был вовсе не сравним
с уделом неприкаянным моим:
бескрылость, одинокость, холода...
Как другу я завидовал тогда!..

Когда ж мой друг — не схимник, не монах! —
потом в пренебрежительных тонах
о той своей любви упоминал,
мне было больно... Я, конечно, знал,
что все бывает в жизни меж людьми,
что все кончатся может, черт возьми...
Но чтобы так скоро? Нет и нет!
Я речь его воспринял точно бред.
Нет, не был я способен осмеять
такое чудо, нет... И потерять
его — больней мне было бы стократ.
Я это знал, ведь не был я богат
и не был я крылат, и жребий мой
сравним был с наступающей зимой...

Забить такую щедрую любовь,
что обретет не каждый, не любой,
забыть ее, забвению предать,
вообще предать — убить и растоптать!..
Хоть не сказал ему я ничего,
я ненавидел друга моего
и, как ни заклинал я злость: «Уймись!» —
пути у нас, конечно, разошлись.





Настала, конечно, настала
ненастная эта пора,
которая тучи нагнала
и гонит тепло со двора.

И к югу проносится стая
печальных, как дни, журавлей,
и мгла откровенно седая
царит над уныньем полей.

Но все же я верую в чудо
среди стылой тоски сентября:
ведь я никогда не забуду
дарившую лето — тебя.



Я снова в этом мире нестесненном —
бестелевизорном, бестелефонном,
зато в простом, просторном, просветленном,
неисступленном, неперекаленном,
где нервы не гудят железным звонem,
где тополя в пространстве зазаконном
одни смущают дух осенним стоном,
в который раз уже перенесенным
на родине.





Большая нежность — словно вихрь,
ничем уже необоримый,
неотвратимый, нестерпимо
к себе влекущий двух, двоих.

И пусть нам облако разлуки
грозится черным злым дождем,—
друг друга жаждут наши руки,
и мы друг друга ждем и ждем.

И что там осени, что зимы,
тепло бы только нам сберечь,
пускай горчит и запах дыма,—
всегдашний привкус наших встреч.

И нам не надо громких слов:
пусть будут смутны, будут зыбки,
но вспыхнет, вспыхнет свет улыбки
на самом дне глубоких снов.





И надо же, в том возрасте, когда
помехою становятся года,
помехой (и нешуточной!) — здоровье,
нахлынет, нападёт и налетит
то страшное, что ранит и слепит,
то странное, что мир зовет любовью.

И надо же, счастливой рождена,
в несчастье обращается она,
поскольку все не вечно,— каждый знает.
И душу-то она, как птицу влет
свинцом смертельным без пощады бьет,
и душу же, как птицу, окрыляет.





Еще я верю в бабье лето,
еще я верую в тепло,
еще хочу добра и света,
забыв про стужу и про зло.

Еще и небо ясно очень,
и льется золото с небес,
не разгулялась еще осень,
мир летних красок не исчез.

И не стучится у порога
еще судьба в такие дни...
«Повремени еще немного...
Не уезжай... Повремени!..»



Мне снится эта женщина, мне снится...
Ее уста, и очи, и ресницы,
неписанные слов ее страницы,
ее движенья — быстры, как у птицы,
и ласки, от которых дух затмится,—
все снится мне, и это будет длиться,
покуда жизнь моя не прекратится.



ДО ВЕСНЫ

Не отправится больше уже до весны
ни один теплоход по реке,
до весеннего света, до голубизны
за штурвал не держаться руке
рулевого,
и не огласит этот путь —
у-у! — гудок над разливом волны.
Нам зимы не расплавить, не перечеркнуть:
не вольны, не вольны, не вольны.

Много времени, много минует невзгод,
много вьюг и буранов крутых
прометет этот путь и опять заметет
между гор и лесов ледяных,
прежде чем теплоходы покинут причал
и подхватит их воля волны,
и минует невзгода, минует печаль...
...До весны, до весны, до весны...





Там, за окном, снежок идет
и замечает старый год:
все пораженья, все удачи —
совсем, навечно, без отдачи;
крупницы счастья, бездну бед —
всё заметет,— пропал и след;
все передряги, достиженья,
все торжества, все униженья —
без сожаленья, без следа
всё заметет... туда... туда;
все прегрешенья, все напасти —
всё насовсем, а не отчасти;
всё замечает, заметет,
и всё потонет, отойдет...
Иные явятся задачи —
удачи или неудачи.
Но это — после и потом,
потом и говорить о том.
А нынче легче сердце бьется —
все прошлое в архив сдается:
там, за окном, снежок идет
и замечает старый год...





В непроглядные наши морозы
не маню я тебя калачом —
в это царство чудовищной прозы,
что бичует нас жгучим бичом.

Ты, наверное, будешь не рада
и уверуешь только в беду,
коль во мгле затеряются взгляды,
точно в банном белесом чаду.

Стужа Севера — жестче и строже:
еще ягодки все впереди.
Ты, того и гляди, занеможешь,
захвораеть, того и гляди.

И какой бы ни стоило боли
относить нашу встречу к весне,
я тебя ни за что не неволю
приезжать в эту зиму ко мне.





Как много времени прошло!
Я не был здесь, наверно, месяц —
и снег оно уже прожгло
и заклеямило эту местность
тавром своим, своим клеймом:
февраль — какой-то вялый, ватный —
капель устроил за окном —
не хочет зѣму он обратно
впустить. И сын твой так попрос —
столь явственно и так заметно,
что на любой о том вопрос
с улыбкой глянет он победной —
мол, для чего еще вопрос,
коль время видимо так ясно:
и прибыл день, и я попрос,
так что вопрос — довольно праздный.



ФАНТАСТИКА

И к чему он мне, этот букет!
Он рискует тебя не дожидаться.
Точно жители разных планет,
мы не можем так часто встречаться.

Редко-редко встречаемся мы,
друг у друга бываем гостями
и в космической жути зимы
лишь обмениваемся вестями.

Наши письма — и долго их нет! —
где трясутся в мороке дорожной?
Точно жителям разных планет,
нам общаться скорей — невозможно.

Голос твой до меня долетит
среди помех, как при радиосвязи,
глухо слышен... пространством размыт...
и — мечтай уж о будущем разе.

Но мечтай не мечтай... Что — потом?
Бередишь только вечную рану...
Как на разных планетах живем,
звездолеты же — не по карману.





Ни с кем не сумею быть нежным,
хоть ты от меня далека;
и в сумерки, вечером снежным,
кромешная давит госка.

Находит. Нагрывает. Нахлынет.
Но вдруг — от ворот поворот —
вмиг что-то ее опрокинет,
откинет, отбросит, сметет.

Душа возрождается снова,
провидя надежду-зарю...
И это, конечно же,— слово,
которым с тобой говорю.

С чего б ему взяться? Откуда?
Из далей? Рождаясь в душе?
Не знаю. Но вижу в нем чудо.
Я в это поверил уже.





И все давным-давно не клеится,
и ничего не получается,
и в сердце стылое метелица
врывается. И надрывается.

А потому, что ты — не около,
не рядом, и любовь печальная
все о тебе грустит, далекая,
тоской захлестнута прощальнойю.

И у тоски такие ж белые,
как у метели, крылья жесткие.
Меня она, осатанелая,
когтит и бьет крылами, хлесткая.

Но прилетай — метель уляжется
и дни покажутся весенними.
И все наладится, уладится:
не забывай — в тебе спасение.





Я обнимал доверчивые плечи,
твой теплый сон я сторожил в ночи,
чтоб утром вновь смеялись мне навстречу
твоих очей счастливые лучи.

Так думал я, уже и забываясь,
затем что поздно было на дворе,
и сон кружил над мозгом, примеряясь
к его уставшей за день-то коре.

Так, засыпая, думал я, усталый,
затем что день промчался кувырком,
но чутко — не чужая — ты дышала,
и я еще не мог забыться сном.

И думал я о жизни быстротечной,
где было столько вьедливого зла,
и о любви — такой недолговечной
в сравненье с тем, что жизнь уже взяла.

Так спал я и не спал, мое сознание
на зыбкой грани между двух огней
боялось расплескать твоё дыхание,
частицу жизни трепетной твоей...





За деревьями — леса не вижу,
все пою об одном, об одном.
А ведь мир-то — и глубже и выше,
и пора бы мне вспомнить о том.

А ведь мир — и сложнее и мудрее,
и об этом бы — прежде всего.
Только вновь говорю о тебе я
и не вижу вокруг ничего.

Наважденье! И жить-то не люблю:
я не собран, не трезв и не прав,
не у шубы рукав, не у шубы,
без конца не у шубы рукав.

Между тем седина, точно пудра,
прилипает — стряхнешь ли, чудак!
А любовь как уйдет — разве мудрость
посетит меня?
Как бы не так...



ТОТЬМА ВЕСЕННЯЯ

День — кувырком, но в Тотье заночую...
Проснусь — и вдруг почувствую, почую,
что это чудо, сказка наяву,
что не увижу впредь такого чуда,
пока хожу, пока дышу, покуда
я жительствую в мире и живу.

Ну что ни дом — то экспонат музейный:
наличники резные и кисейный
за окнами какой-то нежный снег —
не снег, понятно (я увлекся это),
а ткань — как будто соткана из света,
из снега, что пречистым был вовек.

А эти мне наличники резные!
Их мастера какие записные
в свой вдохновенный сотворили час!
Каким и впрямь немислимым узором,
пред восхищенным представая взором,
и радуют они и тешат нас!

Вот, правда, жаль, что старая сгорела
гостиница... Да уж такое дело...
Не ресторан там прежде был — трактир...
Потом была там — запросто — столовка,
но там кормили вдумчиво и ловко,
добро и сытно — удивляйся, мир!..

А солнце с белизной дружны настолько,
что взор слепят, и ощущаешь только:
повсюду с крыш — капель, капель, капель...
И я душой еще, еще моложе,
и замыслы толпятся и тревожат,
когда в душе весенний бродит хмель.

Здесь чистою и яркою весною
над ждущей воскрешения рекою
мне так оградно — даже не сказать.
И лишь о милой женщине грущу я,
досадуя, что сказку ей такую
покуда не могу я показать.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| Простая повесть | 5 |
| 1941—1945 | 7 |
| «Нам не на чем было расти...» | 8 |
| Вспоминая... | 9 |
| В глубинке | 11 |
| В аэропорту | 12 |
| «Дождь, смешал ты наши карты...» | 14 |
| «Как через сердце кровь...» | 15 |
| «Время в том лишь неизменно...» | 15 |
| «Метеор» | 16 |
| «Этой стройке итог...» | 17 |
| Петровский домик | 18 |
| Ода Устюгу Великому | 19 |
| Великий народ | 21 |
| Державин | 22 |
| Няня | 24 |
| Поэт | 27 |
| Памяти Сергея Орлова | 28 |
| Дом поэта в Переделкине | 29 |
| Автоматы | 31 |
| Песня на слова друга | 32 |
| «И неожиданно я понял...» | 33 |
| «Верю в слово — верю, что найду...» | 33 |
| Краски детства | 34 |
| «Ума у нас не было, право...» | 35 |
| Пес на вокзале | 36 |
| Полной мерой | 38 |
| «Все своим приходит чередом...» | 38 |
| «Время, право ж, неспроста...» | 39 |
| «Фантастика столкнулась с горькой былью...» | 39 |
| Астахово. XIX—XXI | 40 |
| «Со сцены сходят многие поэты...» | 41 |
| «Необъятный объем языка...» | 42 |
| «Изнашиваем сердце чем попало...» | 43 |
| «А за строкою, за строкой...» | 44 |
| «Назвался груздем — полезай...» | 45 |
| Оглядываясь на юность | 47 |
| «О, шум приспевшего дождя!...» | 48 |
| «Примчусь поздравить вас с весной...» | 49 |

| | |
|--|----|
| Лихое лето | 50 |
| «И вот он — шалый запах сена...» | 51 |
| На «Метеоре» | 52 |
| Феррапонтово | 53 |
| «Голубая в озере вода...» | 54 |
| «Не беря никакого имущества...» | 55 |
| «Огни большого города — зовут...» | 56 |
| «Снова сонная осень...» | 56 |
| А между тем... | 57 |
| Дом отдыха | 58 |
| «Темнеет рано. Слишком рано...» | 60 |
| «Уже ноябрь. Увяли все растения...» | 60 |
| Опять зима | 61 |
| «От суесловья, от застолия...» | 63 |
| «Еще середина января...» | 64 |
| Автобус | 65 |
| Женщина | 67 |
| «Меня однажды предал друг...» | 69 |
| Кольцо | 70 |
| «Озорная, озерная...» | 71 |
| «Много в женщинах есть и хорошего...» | 72 |
| О каждом из людей... | 73 |
| «Осенние грибы...» | 74 |
| «Непогода — что злая собака...» | 75 |
| «Как за окном пурга ярится!...» | 76 |
| «Затопленный весной, город жив...» | 76 |
| «Пишется... Бывает, что запоем...» | 77 |
| «Какими грозными громами...» | 77 |
| Май | 78 |
| «Дороженька: подъемы, скаты...» | 78 |
| Белая ночь | 79 |
| «Весенний день объемён, словно дом...» | 80 |
| «Затоплено мое заречье...» | 81 |
| «Судьба! Ты истинно слепая...» | 82 |
| «Разрыв... Я не думал, что это...» | 83 |
| «Не оживить уже букета...» | 84 |
| «Птичьему щелку и свисту...» | 85 |
| Русский | 86 |
| Музыка | 87 |
| Листопад | 88 |
| «Опять пойду в моих ночных скитаньях...» | 89 |
| «Поскольку едва ль интересны...» | 90 |
| «Все леса оберет листопад...» | 91 |
| «Море гудит, словно это...» | 92 |
| «Все больше размываются черты...» | 93 |

| | |
|--|-----|
| Подошла осень | 94 |
| «Влюбиться! И мертвую хваткой...» | 95 |
| «Я как подарок принимаю...» | 96 |
| «Дай бог удержать мне его...» | 96 |
| «Счастье выпадет нежданно...» | 97 |
| «С тобой — пешком, с тобой — в такси...» | 98 |
| «Все вымерзло в пустыне ноября...» | 99 |
| На родине моей | 100 |
| «— Что будет с нашей любовью...» | 101 |
| Обратный адрес | 102 |
| «До тебя довезут поезда...» | 103 |
| «Ты красивой такой уродилась...» | 103 |
| Чудо | 104 |
| Письмо | 105 |
| «Ты хочешь верить в добрые приметы...» | 106 |
| «Ничего. Никаких тебе дел...» | 107 |
| «С тобою точно бы беседую...» | 108 |
| Воспоминание о Латвии | 109 |
| «В чужих краях о Вологде...» | 110 |
| «Ты далеко. Меж нами злые выюги...» | 111 |
| Ревность | 113 |
| «Ищите женщину!» Она причиной...» | 113 |
| Рейс №... | 114 |
| «Мне вдруг иным предстал весь белый свет...» | 115 |
| «Под таким набухшим небом...» | 116 |
| «Все до поры, до времени, до разу...» | 117 |
| «Не видя и не слыша (не тревожит!)...» | 118 |
| Начало марта | 119 |
| «И вот уже первые листья...» | 121 |
| Севернее Устюга | 122 |
| «Наш час — он скуп и дан судьбой взаимь...» | 122 |
| Стужа | 123 |
| Конец марта | 123 |
| «Внезапно сердце заболит...» | 124 |
| «О, как он был любим тогда, мой друг...» | 125 |
| «Настала, конечно, настала...» | 127 |
| «Я снова в этом мире нестесненном...» | 127 |
| «Большая нежность — словно вихрь...» | 128 |
| «И надо же, в том возрасте, когда...» | 129 |
| «Еще я верю в бабье лето...» | 130 |
| «Мне снится эта женщина, мне снится...» | 130 |
| До весны | 131 |
| «Там, за окном, снежок идет...» | 132 |
| «В непроглядные наши морозы...» | 133 |
| «Как много времени прошло...» | 134 |

| | |
|--|-----|
| Фантастика | 135 |
| «Ни с кем не сумею быть нежным...» | 136 |
| «И все давным-давно не клеится...» | 137 |
| «Я обнимал доверчивые плечи...» | 138 |
| «За деревьями — леса не вижу...» | 139 |
| Тотьма весенняя | 140 |

Борис Александрович Чулков

КРЫЛЬЯ НАСУЩНЫЕ

Редактор В. А. Беднов

Художник Р. С. Климов

Художественный редактор

В. С. Вежливцев

Технический редактор

Н. А. Цинис

Корректоры Н. С. Дурасова,

В. А. Фокина

Сдано в набор 17.2.1981 г. Подписано в печать 6.4.1981 г.
ГЕ04292. Формат 70×90^{1/32}. (бум. тип. № 1).

Физ. печ. л. 4,5. Усл. печ. л. 5,265. Уч.-изд. л. 4,228.

Тираж 5000. Заказ 795. Цена 70 коп.

Северо-Западное книжное издательство,
Вологодское отделение, Вологда, Урицкого,
2.

Областная типография, Вологда, Челюс-
кинцев, 3.